

## **РУССКАЯ И ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ И СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА**

Научная статья

УДК 8.82-14

DOI: 10.25688/2619-0656.2023.11.10

### **ДЕРЖАВИНСКИЕ ПРЕТЕКСТЫ В СТРУКТУРЕ ОДЫ А.С. ПУШКИНА «ВОЛЬНОСТЬ»**

**Сергей Борисович Калашников**

Московский городской педагогический университет, Москва, Россия,  
KalashnikovSB@mgpu.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9521-476X>

**Аннотация:** Текст оды А.С. Пушкина «Вольность» представляет собой сложное произведение, в котором оказываются совмещены многочисленные интертекстуальные планы из произведений Ломоносова, Радищева и Капниста. Но наибольшее количество стихотворных корреспонденций он обнаруживает с текстами Г.Р. Державина. Многочисленные метрические, ритмические, строфические и лексико-грамматические заимствования, рифменный репертуар, образные и тематические решения, библейская традиция увещевания земных царей и традиция визионерской поэзии существенно расширяют круг прецедентных державинских текстов и располагают к тому, чтобы выявить общую тенденцию их эволюции в оде Пушкина. Державинский интертекст, с одной стороны, выступает в юношеском стихотворении Пушкина полемическим фоном для интертекста радищевской оды «Вольность» и европейских концепций естественного и положительного права, сформулированных в трактатах Ж.-Ж. Руссо «Об общественном договоре» и Ш.-Л. Монтескьё «О духе законов», а с другой – становится элементом построения собственной художественной концепции соотношения Свободы, Закона и Власти. Она выстраивается на отчетливой иерархии трех категориальных понятий: 1) Вечный Закон, т. е. высший нравственный регламент и Божественная справедливость, ответственность перед которой, в соответствии с державинской моделью, несут все смертные, в том числе и «земные владыки»; 2) «законов мощных сочетанье», или всеобщая юридическая норма, за строгим соблюдением которой должны следовать люди, наделенные властными полномочиями;

3) «самовластье», т.е. самочинная воля отдельного индивида, основанная на его произвольных, не согласующихся с высшим нравственным регламентом и юридической нормой, хотениях.

**Ключевые слова:** лирика, ода, интертекст, власть, закон юридический, закон нравственный.

**Для цитирования:** Калашников С.Б. Державинские претексты в структуре оды А.С. Пушкина «Вольность» // Русистика и компаративистика: Сб. науч. трудов по филологии / Гл. ред. С.А. Васильев; отв. ред. И.Н. Райкова. Вып. XVII. М.: ИКД «Зерцало-М», 2023. С. 156–178. <https://doi.org/10.25688/2619-0656.2023.11.10>

Original article

## DERZHAVIN'S PRETEXTS IN THE STRUCTURE OF A.S. PUSHKIN'S ODE "LIBERTY"

**Sergey B. Kalashnikov,**

Moscow City University, Moscow, Russia,

KalashnikovSB@mgpu.ru, <https://orcid.org/0000-0002-9521-476X>

**Abstract:** The text of the ode of A.S. Pushkin "Liberty" is a complex work in which numerous intertextual plans from the works of Lomonosov, Radishchev and Kapnist are combined. But he discovers the greatest number of poetic correspondences with the texts of G.R. Derzhavin. Numerous metrics, rhythmic, strophic, and lexico-grammatical borrowings, rhyming repertoire, figurative and thematic decisions, the biblical tradition of exhorting earthly kings and the tradition of visionary poetry significantly expand the circle of precedent Derzhavin texts and are disposed to reveal the general trend of their evolution in ode Pushkin. Derzhavinsky intertext, on the one hand, acts in Pushkin's youthful poem as a polemical background for the intertext of Radishchev's ode "Liberty" and the European concepts of natural and positive law formulated in the treatises of J.-J. Russo "On the Social Contract" and Sh.-L. Montesquieu "On the Spirit of Laws", and on the other, becomes an element in building his own artistic concept of the relationship between Freedom, Law and Power. It is built on a distinct hierarchy of three categorical concepts: 1) the Eternal Law, i.e. the highest moral regulation and Divine justice, the responsibility to which, in accordance with the Derzhavin model, is borne by all mortals, including the "earthly lords"; 2) "laws of powerful combination", or a general legal norm, which must be strictly observed by people endowed with power; 3) "autocracy", i. e. the autocratic will of an individual, based on his arbitrary, inconsistent with the highest moral regulations and legal norm, desires.

**Keywords:** lyrics, ode, intertext, power, legal law, moral law.

*For citation:* Kalashnikov S.B. (2023). Derzhavin's pretexts in the structure of A.S. Pushkin's ode "Liberty". In: Russian Philology and Comparative Studies: Collection of research papers. Chief editor S.A. Vasil'ev; publishing editor I.N. Raikova. Vol. XVII. Moscow: Zertsalo-M. Pp. 156–178 (In Russ.). <https://doi.org/10.25688/2619-0656.2023.11.10>

© Калашников С.Б., 2023

**Введение (цель, материал исследования, методология).** Державин, как уже неоднократно отмечалось исследователями [Томашевский 1990: 181–184; Благой 1967: 133–144; Городецкий 1962: 181–184], оказал прямое влияние на Пушкина при его работе над одой «Вольность». Однако до недавнего времени считалось, что оно ограничивается лишь использованием строфики «Вельможи» и идейными параллелями к «Властителям и судиям» и «Памятнику» [Томашевский 1990: 137–138]. В целом интерес к пушкинско-державинским текстовым взаимодействиям носит не вполне интенсивный, однако достаточно регулярный характер. Еще в середине прошлого века вопрос о концептуальной значимости творчества Державина для Пушкина был решен окончательно [Макогоненко 1969: 113–126], поэтому большинство современных исследований разрабатывает проблему отдельных текстологических влияний на уровне образной структуры стихотворений [Прокудин 2002: 8–15], отдельных мотивов [Соболева 2015: 57–63] или интертекстуальных взаимодействий [Ивинский 2017: 127–145].

Чрезвычайно важным этапом в развитии темы «Пушкин и Державин» стала публикация комментариев к оде «Вольность» историка права и византиста В.Е. Вальденберга [Вальденберг 2015], а затем и выход его монографии о политическом мировоззрении Пушкина [Вальденберг 2017], на которое Державин оказал едва ли не главное влияние.

Текст оды «Вольность», при всей его кажущейся простоте и ясности, представляет собой сложное произведение, в котором оказываются совмещены многочисленные интертекстуальные планы. Часть из них, посвященная корреспонденциям со стихотворениями Ломоносова, Радищева и Капниста, была нами рассмотрена ранее [Калашников 2007: 23–30]. Переключки и аллюзии с текстами Державина по-прежнему нуждаются в уточнении и истолковании.

**Основная часть.** Из всего значительного корпуса текстов поэта XVIII века Пушкин в качестве прецедентных источников избирает произведения, в которых Державин художественно оформляет идею образцового монархического правления, опирающуюся на специфический культурно-исторический феномен XVIII столетия – сакрализацию функции русского монарха [Успенский 1996а: 205–337; Успенский 1996б: 184–204; Успенский 1996в: 142–183]. Теория эта, в свою очередь, «восходит к тра-

диции древнерусских текстов назидательно-юридического характера и основана на представлении о праведности и неправедности государственной власти, о функциональном уподоблении царя Богу по праву судить» [Успенский 1996а: 211–212].

Эта традиция представлена, как отмечает Б.А. Успенский, во «Временнике» Ивана Тимофеева, в «Слове святого отца нашего Василия, архиепископа кесарийского, о судиях и властителях», «Просветителе» Иосифа Волоцкого, в «Мериле праведном» и восходит в конечном итоге к 81-му псалму [Успенский 1996а: 211–212]. Особенно примечательным является лексическое совпадение из заглавия «Слова...» Василия Кесарийского и оды Державина — «властителям и судиям».

В державинском исполнении 6-й стих Псалма 81 звучит следующим образом:

Цари! — Я мнил, вы боги властны,  
Никто над вами не судья:  
Но вы, как я, подобно страстны  
И так же смертны, как и я [Державин 2002: 60]<sup>1</sup>.

Эти строки зачастую считают декларацией естественно-природного равенства людей и «разоблачением ореола царей от мистического обоготворения» [Томашевский 1956: 154]. В них же видят иллюстрацию просветительского учения о страстях, искажающих принцип разумности власти: «Последний стих Пушкина (“И славы роковая страсть”) восходит к учению о “страстях”, характерному для разных вариантов “естественного права” (ср. цитированный стих Державина, обращенный к царям: “Но вы, как я, подобно страстны”, или стих Радищева: “Но царь когда бесстрастен был?”)» [Томашевский 1956: 160]. Если в случае Радищева такое истолкование с некоторыми оговорками оказывается возможным, то державинское четверостишие содержит иной смысл: здесь утверждается принципиальное неравенство земных владык и Владыки Небесного. Цари осуждаются не потому, что они равны смертным, но потому, что вознамерились уравнять себя с Богом.

Как отмечает Б.А. Успенский, «именно из древнерусской письменности Державин усваивает идею противопоставления праведного и неправедного царя, идею ограниченности праведной власти нравственным законом, идею справедливого суда как необходимого основания правого царского пути. Однако с этими идеями Державин сопрягает и свои собственные концепции. Столь характерно для послепетровской России са-

<sup>1</sup> Далее ссылки на стихотворные тексты Г.Р. Державина даются по этому изданию с указанием в круглых скобках номера страницы.

кравлизацию монарха Державин не отбрасывает, но делает ее следствием праведности царя — сакрализация была бы непроситительна, если бы относилась к любому монарху без разбора; она, однако, оправдана, когда обращена к царю, правящему согласно с законом и заповедями, когда царь есть образ Божий» [Успенский 1996а: 335–336].

Небезынтересно отметить, что державинская ода «Властителям и судиям», подобно оде пушкинской, первоначально была воспринята как якобинские стихи, поскольку «в сие время революция во Франции во жесточайшем была действии» [Державин 2002: 555], так что поэту пришлось доказывать, что «царь Давид не был якобинцем» [Державин 2002: 554]. Этот случай, как представляется, ставит для Державина под серьезное сомнение легитимность власти государыни и влияет на художественную стратегию созданной двумя годами позже оды «Фелица», где реализован двойной модус восприятия образа российской самодержицы: Фелица — это одновременно и Екатерина II, и персонаж ее сказки о царевиче Хлое. Та же амбивалентность распространяется и на образ мурзы, в котором может угадываться и автобиографический герой Державина, и собирательный образ вельможи-придворного. Осознанность выбранного поэтом неоднозначного художественного решения подтверждается и поздним признанием, сделанным в одном из писем: «Но если рассуждать, что она была человек, что первый шаг ее восшествия на престол был не непорочен, то и должно было окружить себя людьми несправедливыми и угодниками ее страстей, против которых явно восставать, может быть, и опасалась, ибо они ее поддерживали» [Державин 1871: 700–701]. Приведенный из жизни Державина эпизод свидетельствует о том, что культурно-историческая модель харизмы царской власти к концу XVIII века не только не исчерпала себя, но, напротив, стала особенно актуальной в связи с многочисленными дворцовыми переворотами.

Этот же комплекс представлений о сакральности царской власти предписывает особую модель поведения для подданных: «Повиноваться следует только праведному царю, тогда как в отношении несправедливого царя оправданным оказывается противодействие ему. Подданный, руководствуясь религиозно-нравственным критерием, должен сам определить, властвует ли над ним праведный или несправедливый царь, и сообразовать с этим свое поведение» [Успенский 1996а: 216]. В осуществлении этого выбора и должен помочь поэт-пророк, наделенный свыше способностью вещать божественную истину — именно это лирическое амплуа становится для одической практики XVIII столетия своеобразной поэтической константой [Калашников 2006: 726–733].

У Державина в ряде произведений вырабатывается инвариантная мотивная схема данного одического сюжета. Земному судии, у которого «покрыты мздою очеса», противопоставлен праведный судия — «пиита

псалтирический». Его богоизбранность определяется нравственным законопослушанием. Причем обуздание страстей осуществляется не с точки зрения рационального идеала просветителей, а в плоскости нравственной и является соблюдением не юридических, даже самых образцовых, законов, но высших предписаний, основанных на милосердии и великодушии:

Я милость воспою и суд,  
И возглашу хвалу я Богу;  
Законы, поученье, труд,  
Премудрость, добродетель строго  
И непорочность возлюблю.

В моем я доме буду жить  
В согласьи, в правде, в преподобьи;  
Как чад, рабов моих любить,  
И сердца моего в незлобьи  
Одни пороки истреблю (64).

Сам Державин комментирует эти строки так: «Мысль почерпнута из псалма 100» [Державин 2002: 555]. Причем, в отличие от стихотворения «Величество Божие», которое с буквальной точностью воспроизводит содержание 103-го псалма, здесь Державин нарушает традицию этого буквализма и разрабатывает детальнее нравственный аспект проблематики. Это особенно хорошо заметно при сопоставлении первых двух строф стихотворения с начальными стихами 100-го псалма:

1. Милось и суд буду петь; Тебе, Господи, буду петь.

2. Буду размышлять о пути непорочном: «когда ты придешь ко мне?» буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего [Православный молитвослов. Псалтирь].

Буквального соответствия не наблюдается, а это значит, что Державин подвергает тому *лирической* интерпретации, приспособляя ее к личным нравственно-философским воззрениям.

Образ «праведного мужа», блюдущего закон Всевышнего, далеко не единичен. Так, в стихотворении «Истинное счастье» способность следовать Божественному предписанию расценивается как главная нравственная добродетель:

Но будет ношию и днем  
В законе Божьем поучаться,  
И всею волею стараться,  
Чтоб только поступать по нем (65).

(Ср. с Пс. 1, 2: «Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» [Православный молитвослов. Псалтирь]).

От лица пророчески одаренного поэта в стихотворении «Уповающему на свою силу» Державин дает обоснование равенства смертных перед Высшим Судом:

Дает зверям и птицам пищу,  
И насекомым и червям:  
Так рублище дарует нищу,  
Как диадему и Царям (70).

Обличительный пафос следует считать здесь, скорее, не сатирическим, но религиозно-нравственным: субъективная оценка героя стихотворения совмещена, по традиции духовной оды, с объектом высшей эстетической оценки:

Восстал Всевышний Бог, да судит  
Земных богов во сонме их... (60).

Таким образом, за целой группой державинских «духовных» стихотворений угадывается своеобразная троичная иерархия «законности»:

1. В земном мире господствует всеобщее беззаконие, которое делает своими жертвами простых смертных, не наделенных от Бога властью и законом: это те самые несчастливые, бессильные и бедные, которые нуждаются в защите и покровительстве со стороны земной власти. Беззаконие воспринимается как неизбежное несовершенство земного мира и следствие грехопадения всего человечества.

2. Всеобщий греховный произвол призваны регулировать юридические установления, блюение которых находится во власти земных царей, получивших свое право повелевать от Всевышнего Бога. Это право меняется им в нравственный долг, несоблюдение которого карается Высшим судом:

Ваш долг есть: сохранять законы, —  
На лица сильных не взирать,  
Без помощи, без обороны  
Сирот и вдов не оставлять.

Ваш долг спасать от бед невинных,  
Несчастливым подать покров;  
От сильных защищать бессильных,  
Исторгнуть бедных из оков (60).

Заметим попутно, что «исторжение бедных из оков», т. е. освобождение от рабства, есть прямая обязанность «владык», причем как юридическая, так и нравственная. Земной царь должен поступить в соответствии с законом, данным Царем небесным.

3. Но над земными царями располагается в этой метафизической иерархии высший Закон, регламентирующий отношения между людьми не столько юридически, сколько нравственно:

Воскресни, Боже! Боже правых!  
И их молению внемли:  
Приди, суди, карай лукавых  
И будь един Царем земли! (60).

В стихотворении «Об удовольствии» (1798) державинская «иерархия власти» представлена еще более отчетливо:

Сидят на тронах возвышенны  
Над всей вселенною Цари,  
Ужасной стражей окруженны,  
Подъемля скиптры, судят при:  
Но Бог есть вышний и над ними;  
Блистая молньями своими,  
Он сверг Гигантов с горних мест  
И перстом водит хоры звезд (262).

Этот Закон един для всех и является отнюдь не природным правом на равенство в идеологии просветителей, но вечным Законом, в одинаковой мере распространяющимся на всех смертных. Равенство определяется здесь неизбежностью ответственности всякого человека перед лицом Всевышнего Бога. Поэтому слова поэта-псалмопевца равно обращены и к властителям, и к их рабам:

И вы подобно так падете,  
Как с древ увядший лист падет!  
И вы подобно так умрете,  
Как ваш последний раб умрет! (60)

(Ср. Пс. 81, 7: «Но вы умрете, как человеки, и падете, как всякий из князей» [Православный молитвослов. Псалтирь]).

Пушкинский поэт также обращает свою речь и к ничтожным, и к великим – и подобный императив оказывается оправданным исключительно внутри державинской художественной концепции «иерархии властей»:

Питомцы ветреной Судьбы,  
Тираны мира! трепещите!  
А вы, мужайтесь и внемлите,  
Восстаньте, падшие рабы! [Пушкин 2004: 12]<sup>1</sup>.

И рабы, и тираны в *одинаковой* мере должны *внимать* голосу певца, в котором заключается Истина. Полагая свободу только в себе самом или в ком-то другом, равном себе от природы, человек становится либо тираном, либо его рабом (что позже приведет к возникновению пушкинской формулы «На всех стихиях человек // Тиран, предатель или узник»). И эпоха Просвещения с его абсолютизацией идеи общественного договора и положительного права узаконивает отсутствие всякого выбора: «Где капля блага, там на страже // Иль просвещение, иль тиран». Противоречие разрешается у Пушкина тем, что он предлагает масштабировать точку зрения и взглянуть на проблему из-за пределов сугубо правового регламента, не отменяя при этом важности его соблюдения.

Призыв «Восстаньте, падшие рабы» следует, таким образом, понимать как отказ от раболепствования и добровольного самоунижения перед неправедным царем. Слова поэта-пророка должны помочь совершить самоопределение «падших» и освободить их во имя соблюдения нравственного закона от выполнения обязательств перед «самочинным» властителем, который поработает чужую волю собственным произволом. Иначе говоря, уже здесь угадываются очертания пушкинской мысли о том, что свобода человека санкционируется им самим через признание над собой в качестве высшей инстанции именно нравственного закона, соблюдение которого исключает возможность нарушения закона юридического, — мысли, ставшей впоследствии основой художественной концепции «Капитанской дочки». Вольность потому и названа в оде «святой», что дана Зиждителем всем и каждому. Кстати, словосочетание «святая воля», семантически максимально приближенное к пушкинской «вольности святой», впервые употреблено Ломоносовым в «Оде, выбранной из Иова» именно в подобном контексте:

Сие, о смертный! рассуждая,  
Представь Зиждителю власть;  
Святую волю почитая,  
Имей свою в терпении часть.  
Он всё на пользу нашу строит,

<sup>1</sup> Далее текст оды А.С. Пушкина «Вольность» цитируется в так называемой поздней редакции под названием «Свобода» с включенной в нее последней строфой по этому источнику с указанием в круглых скобках страницы.

Казнит кого или покоит,  
В надежде тяготу сноси  
И без роптания проси [Ломоносов 1972: 142].

В пятой строфе оды Пушкина «Вольность» эта восходящая к Державину максима о главенстве высшего нравственного Закона достигает предельного заострения и вступает в серьезное противоречие с правовой концепцией законности Радищева, изложенной у Пушкина в предыдущих полутора строфах:

Владыки! вам венец и трон  
Даёт Закон — а не природа;  
Стоите выше вы народа,  
Но вечный выше вас Закон (13).

Подобно тому, как Державин в соответствии с церковной традицией семантически обыгрывает написание строчных и прописных букв в ключевых словах оды «Властителям и судиям», создавая тем самым пары противопоставлений «Всевышний Бог — земные боги», «Царь земли — земные цари», Пушкин таким же способом осуществляет дифференциацию двух видов законности — собственно юридической и высшей нравственной. Если в первом случае прописная буква обусловлена положением слова в начале стиха («Законов мощных сочетанье»), то, будучи смещенной вовнутрь стихового периода («Даёт Закон», «вечный выше вас Закон»), становится смыслоразличительным маркирующим элементом.

Инвариантным мотивом для «профетических» стихотворений Державина становится противопоставление света и тьмы в соответствии с библейской традицией. Если свет отождествляется с истиной и добродетелью, то тьма становится воплощением душевных «кривд» человека, пороков его сердца:

Хоть полк пред ним врагов предъидет  
И окружит отвсюду тьма, —  
Оружием его обыдет  
Небесна истина сама (66).

<...>

Как в зеркале, в тебе оставил  
Сиянье Он Своих лучей;  
Победами тебя прославил,  
Число твоих прибавил дней (68).

В «Вольности» Пушкина этот устойчивый мотив отчасти закамуфлирован. Образ тьмы явлен в 9-й строфе оды, когда «задумчивый певец» гля-

дит на «забвенью брошенный дворец», за стенами которого свершилось вопиющее в нравственном смысле беззаконие:

Когда на мрачную Неву  
Звезда полуночи сверкает... (13).

Кроме того, появляется он и в 3-й строфе, но в метафорическом значении:

Везде неправедная Власть  
В сгущенной мгле предрассуждений  
Воссела... (12).

«Мгла предрассуждений» обладает значением отпадения от истины. Семантика света здесь выражена через уменьшение его интенсивности и связана, на наш взгляд, со способностью «певца» к визионерству: свет истины выхватывает из мрака истории трагическое событие и подвергает его беспристрастному рассмотрению.

Примечательно, что традиции визионерской поэзии в русской лирике тоже восходят к Державину. «Видение мурзы» – убедительный тому пример, который, думается, и породил ряд пушкинских ассоциаций. Наступление ночи и бдение «певца» посреди всеобщего безмятежного сна также становится атрибутом его профетической одаренности и приобщенности к истине. Ср. у Державина:

На темно-голубом эфире  
Златая плавала луна,  
В серебряной своей порфире  
Блистаючи с высот, она  
Сквозь окна дом мой освещала,  
И палевым своим лучом  
Златые стекла рисовала  
На лаковом полу моем.  
Сон томною своей рукою  
Мечты различны рассыпал;  
Кропя забвение росой,  
Моих домашних усыпляет;  
Вокруг вся область почивала,  
Петрополь с башнями дремал,  
Нева из урны чуть мелькала,  
Чуть Бельт в берегах своих сверкал и т. д. (86).

См. также образ ночного Петербурга у Пушкина в «Вольности»:

Когда на мрачную Неву  
Звезда полуночи сверкает  
И беззаботную главу  
Спокойный сон отягощает,  
Глядит задумчивый певец  
На грозно спящий средь тумана  
Пустынный памятник тирана,  
Забвенью брошенный дворец (13).

Осуществив значительную редукцию исходной схемы, Пушкин тем не менее концентрирует в ней достаточно большое количество атрибутов «визионерской» поэзии, правда, реализуется эта способность своеобразно. Если у Державина видение мурзы становится разрывом в естественном ходе исторического времени:

Блажен! — Но с речью сей незапно  
Мое все зданье потряслось,  
Раздвиглись стены, и стократно  
Ярче молний пролилось  
Сиянье вокруг меня небесно;  
Сокрылась, побледнев, луна.  
Виденье я узрел чудесно (87), —

то у Пушкина видение поэта пронизывает «толщу времен» и переносит его в недалекое прошлое.

Еще один прием, позаимствованный Пушкиным у Державина в качестве своеобразного претекста, выполняет в оде «Вольность» композиционную функцию. Поэт XVIII века часто использует в первом стихе внутренней строфы (т. е. не начальной и не конечной) междометное восклицание «увы» с модальностью сожаления, разочарования. Его функция состоит в контрастном эмоциональном противопоставлении предыдущей строфе и означает переход к новой лирической экспрессии, которая затем подвергается аналитическому рассмотрению и риторической разработке. Если ода, по определению того же Державина, представляет собой «лирический беспорядок» и внезапный переход от одного чувствования к другому, то подобное междометное восклицание знаменует собой не только переключение эмоционального регистра, но и введение в разработку новой темы или мысли и, соответственно, начало нового композиционного фрагмента. Этот прием становится чертой исключительно державинской оды (у Ломоносова, Тредиаковского, Сумарокова он, заметим, не используется вообще), где разворачиванию мысли предшествует сильный эмоциональный импульс. Вот лишь некоторые из примеров:

Младенец лишь родится в свет,  
 Увы! увы! он вопиет.  
 Уж чувствует свое он горе...  
 (Успокоенное неверие: 71);  
 Увы! пал крин, и пали терны. —  
 Почто ж? — Судьбы небесны темны...  
 (На взятие Измаила: 99);  
 Увы! — и честь сия Героев,  
 Приступов монументы, боев,  
 Не суть ли знаки их свирепства?  
 (Памятник герою: 121)<sup>1</sup>.

У Пушкина это риторическое восклицание («Увы! куда ни брошу взор...») сигнализирует переход от одического зачина к основной части оды и непосредственной разработке темы. Композиционный «шов» ознаменован здесь решительной сменой эмоционального тона: от повелительно-резкого, угрожающего обращения к аудитории (тиранам мира и рабам) и патетической интонации поэт внезапно переходит к чувству сожаления и разочарования существующим положением вещей. Внутренняя эмоциональная противоречивость становится поводом к интеллектуальной рефлексии, чтобы в конце оды остановить раскачивание лирического маятника между доводами рассудка и рецидивами чувства.

У Державина казнь французского короля заслуживает явного осуждения как вероломное злодейство, результатом которого стала незаконная узурпация власти:

О палачи Царя презренны!  
 Отвествуйте теперь вы нам,  
 Ответствуйте нам, Петioniы:  
 Почто Монарха и отца,  
 Заслуги, веру и законы,  
 Попрали Вы? О злы сердца!  
 Почто невинного убили  
 И век пятном наш обагрили? (158).

<sup>1</sup> В текстах Державина таких случаев десятки, поэтому дальнейший перечень ограничим названием стихотворений: «На смерть князя Мещерского» (125), «На Счастье» (143), «На коварство французского возмущения и в честь князя Пожарского» (154), «Вельможа» (167), «Водопад» (182), «Мой истукан» (197, 199), «Приглашение к обеду» (214), «На кончину графа Орлова» (223), «На кончину императрицы Екатерины II» (249), «На смерть Нарышкина» (311), «Колесница» (315), «Волхв Курбе» (322), «Ко второму соседу» (330), «Память другу» (335), «Монумент милосердию» (339).

Требуя справедливого возмездия за совершенное нравственное преступление, в котором не было никакой общественно-политической оправданности, одический герой Державина уповает на высший нравственный закон:

Греми, проклятие, всеместно  
И своды храма потряси  
И правосудие небесно  
Скорей на злобу ниспроси! (158).

Однако в поэтической метафизике Державина еще тремя годами ранее возникает образ такого возмездия, которое осуществляется одновременно в двух проекциях — и в провиденциальном плане, и в человеческой истории:

Хотя дела твои днесь громки:  
Но если поздние потомки  
Путей в них правых не найдут,  
Не будешь помещен ты в Боги; —  
Несправедливые дороги  
В храм вечной славы не ведут.

Ведут — не в храм, — на место лобно  
Оне святителей неправд;  
Души коварной чувство злобно  
Здесь дыба: — а по смерти, — ад (151).

Обращение к нарушителю нравственного закона превращается в отвлеченно-риторическую схему, но этот механизм абстрагирования от конкретно-исторических обстоятельств призван показать универсальность выявленной закономерности. Рассматривая «французское возмущение» в ряду других подобных исторических прецедентов, Державин сопоставляет по принципу аналогии не только мотивацию подобных событий, но также их «результативность» с точки зрения вечности и небесного правосудия. Если действия Брута и Кромвеля, будучи незаконными, всё-таки могут быть идентифицированы как «надменность» и «властолюбие», то убийцы Людовика XVI проявляют свою «звериную лютость» беспричинно, явно нарушая и юридический, и нравственный регламент:

Давно надменья, властолюбья  
Сию личину знаем мы;  
Ее и Кромвель брал в орудья,  
И ею Брут слепил умы.

Открыта днесь сердец их склонность  
 И мнимых цель геройских дел:  
 Но пусть тот веру, сей же вольность  
 Как будто защищать хотел;  
 А вашей лютости звериной,  
 Царевубийцы! что причиной? (157).

(См. параллельное место у Пушкина: «как звери вторглись янычары»).

В комментариях к собственным сочинениям Державин поясняет роль упомянутых исторических деятелей так: «Кромвель, тоже известный истребитель в Англии монархической власти и основатель нового образа республиканского правления; Петион — один из злейших бунтовщиков, подписавших смертный приговор на Людовика XVI; Брут сенатор римский, убивший с прочими сенаторами Юлия Цесаря под предлогом, чтоб спасти республику от тирании» [Державин 2002: 580]. Сам Державин в тех же комментариях свидетельствует о своем постоянном интересе к истории и к случаям вопиющего нарушения нравственного закона: «Так как всякая несправедливость сильным образом, как бы какая болезнь, даже физически поражала автора, то, читая древнюю и новую историю и упражняясь сам в делах <...> исполнен был горячими чувствованиями против того и также против деспотизма: то долгое время собирал мысли к объяснению подобных дел» [Там же].

В словах Людовика XVI нетрудно опознать декларацию естественного права, когда государь чтит волю народа, во всем полагаясь на идею равенства всякого гражданина перед лицом юридического закона:

Что, дети! что, народ мой славный!  
 Что вам такое сделал я?  
 Вы скиптр вручили мне державный:  
 Чем постыдилась власть моя?  
 Вы имя мне благого дали,  
 Вы благости мои вкушали <...>  
 Желали вы иметь свободу,  
 Чтобы законы написать?  
 Я отдал все права народу  
 И всю мою вам царску власть.  
 Желали, чтоб я, сняв корону,  
 Со всеми вами равен был?  
 Ни слез не испустив, ни стону,  
 Я с вами гражданином слыл.  
 Желали вы, чтоб я судился:  
 И я пред вами прав явился (158).

Однако декларация эта опровергается смертью короля, лишенной не только законности, но и политической целесообразности. Таким образом, позиция Державина в вопросах естественного права кардинально отличается от позиции Радищева. Если у последнего в «Вольности» моделируется ситуация справедливого народного мщения владыке, вероломно нарушившему установленный самой природой закон всеобщего равенства, то у Державина нравственная проблематика предельно заостряется: мщение уместно там, где злоупотребление властью достигло крайних пределов. В случае с Людовиком XVI верховная власть оказывается не только лояльна, но и доверчива к народу, и свершившееся мщение не может быть оправдано ее вероломством.

В противовес «коварству французского возмущения» Державин приводит пример из русской истории. Обращение к образу князя Пожарского в данном стихотворении является завершающим логическим звеном всей историософской концепции поэта. Изобличив коварство властолюбцев, показав неоправданную жестокость народа к своему королю, Державин не мог не размышлять над беспомощностью юридических законов, которые в должной мере не регламентируют отношения между владыками и их подданными. Там, где для Радищева вопрос кажется исчерпанным и решенным, для Державина-поэта ощутимо серьезное противоречие: сколь бы совершенной ни была правовая основа государства, она не может обеспечить полной стабильности политического устройства. Как при тирании, так и при различных формах народоправия соблазн любоначала неискореним и постоянно одолевает политических авантюристов. Поэтому образ кн. Дм. Пожарского должен восприниматься здесь не как отвлеченный просветительский идеал, но как конкретный факт русской истории, осмысленный с позиции высшего нравственного закона:

Который бы в боях сражался  
Лишь спасти народ, Царя от бед;  
Перунами не возвышался,  
Отнес к другим весь звук побед;  
Красой и золотом не был пленным,  
Простил убийцам обличенным,  
Сокрыту зависть наградил;  
Не вняв к себе народа клику,  
Избрал достойного владыку  
И над собою воцарил.

Который, быв покорен воле  
Избранного собой Царя,  
Не возроптал и в низкой доле,

Его веления творя,  
 Стократ излил своей ток крови,  
 Иссяк к отечеству в любви,  
 Доволен без наград собой;  
 Царя творец и раб послушный,  
 Не ты ль, Герой великодушный,  
 Пожарской? Муж великий мой? (155).

Имея право на власть по закону положительному (что напрямую согласуется с радищевской концепцией), Пожарский отказывается от нее из нравственного чувства. Столь же выразительна оказывается характеристика Героя, данная в обращении «К читателю» при публикации Державиным «героического представления» «Пожарский, или Освобождение Москвы»: «Когда Пожарский, пренебрегши свое спокойствие и несмотря на раны свои, в смутное время принял на себя главное предводительство собранного войска; не поступил по тогдашним обычаям жестоко со злодеями, на убийство его покушавшимися; не прельстился богатством бояр, из осажденной Москвы им выпущенных; не обходился с пленниками сурово, как другие, которые их имение ограбили, а самих лишили жизни; не принял короны, от народа ему поднесенной, как некоторые иностранные писатели и все обстоятельства утверждают, а возложил ее на наследника по крови царской, учредя монархическое правление, — то не был ли он Герой высшей степени, человек самый добродетельный, великий, каковых мало история представляет и каковым я его представляю, придав ему слабости, не победа которых, никто великим почитаться не может?» [Державин 2002: 582]. В черновой рукописи поэмы о Пожарском есть и такие слова о нем: «Образ совершенного героя, любителя отечества: великодушен, терпелив, бескорыстен, милосерд, щедр, скромн, богочтителен» [Там же].

Те же лозунги французской революции — свобода, равенство и братство — переосмысливаются Державиным исключительно в нравственных категориях:

Блажен народ, который полн  
 Благочестивой веры к Богу,  
 Хранит Царев всегда закон,  
 Читит нравы, добродетель строго  
 Наследным перлом жен, детей,  
 В единокровии, — блаженство;  
 Во правосудии, — равенство,  
 Свободу, — во узде страстей! (167)

Только обоюдное соблюдение высшего нравственного закона может обеспечить согласие между народом и властью и благополучие государства – подобно согласию органов единого тела:

Блажен народ! – где Царь главой,  
Вельможи – здоровы члены тела,  
Прилежно долг все правят свой,  
Чужого не касаясь дела;  
Глава не ждет от ног ума,  
И сил у рук не отнимает,  
Ей взор и ухо предлагает:  
Повелевает же сама (167).

Сим твердым узлом естества  
Коль Царство лишь живет счастливым:  
Вельможи! – славы, торжества,  
Иных вам нет, как быть правдивым;  
Как блюсть народ, Царя любить,  
О благе общем их стараться;  
Змеей пред троном не сгибаться,  
Стоять – и правду говорить (168).

Исход пушкинской оды предлагает такую же схему соответствия государственной жизни нравственному регламенту:

И днесь учитесь, о цари:  
Ни наказанья, ни награды,  
Ни кров темниц, ни алтари  
Не верные для вас ограды.  
Склонитесь первые главой  
Под сень надежную Закона,  
И станут вечной стражей трона  
Народов вольность и покой (16).

Этот же сценарий взаимодействия народов и властителей представлена у Державина и в стихотворении «На Мальтийский орден»:

Народы мира! вразумитесь,  
Зря гордых сокрушаем рог,  
И властолюбия страшитесь;  
Власть свыше посылает Бог.  
Нет счастья в сем мире чудном,

Прибытком, любочестьем бурном,  
 Где вервь от якоря снята:  
 В одной лишь вере есть блаженство,  
 В законах – вольность и равенство,  
 А братство – во любви Христа (256).

Выразительным на фоне прецедентного текста выглядит пушкинское ритмико-грамматическое заимствование: «Тираны мира! трепещите». В том же державинском стихотворении, имеющем явно антиреволюционный смысл, вновь осуждается царубийство во Франции:

Европа вся полна разбоев;  
 Царубийц святят в Героев... (253).

При этом лозунги французской революции «свобода, равенство и братство» получают у Державина религиозно-нравственное истолкование в рамках особой концепции сакральной власти монарха. Только доверительные отношения государя и его народа, основанные на взаимной любви, способны стать гарантией государственного благополучия:

Доверенность! ты столп правленья,  
 Ограда непорочных душ!..  
 Снесись, о дух, дух благотворный!  
 В сердца людей, на царски троны,  
 И воспрети лить смертных кровь (256).  
 <...>  
 Скажи: «народ безглаво тело,  
 Пещись о нем Царей есть дело:  
 Живит взаимна их любовь» (257).

Соблюдению юридической (правовой) законности Державин предпочитает свершение правосудия как проявление высшей справедливости, основанной на нравственном регламенте. Божий суд гарантирует не столько беспристрастность, сколько справедливость и четкую меру ответственности. Поэтому любое проявление правосудия со стороны государя вменяется ему не только в нравственную заслугу, но служит убедительным аргументом в пользу подобия власти Небесной и земной:

Кто слабость смертных ощущая,  
 Соблюл законов строгий долг,  
 Себя во ближнем осуждая,  
 Был вкупе человек и Бог? (267).

Человекобожие Павла должно воспринимать здесь как реализацию барочной метафоры, которая может быть истолкована взаимоисключающими способами: а) земной царь уподобляется Богу в результате перенесения на него атрибутов высшей инстанции — справедливости и правосудия; б) в то же время соположение человеческого естества с проявлением им свойств высшего начала призвано продемонстрировать полную отождественность земного бога и Вседержителя. Барочная метафора лишь создает аналогию, сближая «далековатые понятия», но не отождествляя их в лице Павла. Это сопоставление носит скорее условно-рекомендательный, нежели буквальный характер.

**Выводы.** Как мы видим, пушкинская ода «Вольность» представляет собой чрезвычайно сложную систему державинских интертекстов, корреспонденция которых осуществляется на разных уровнях организации художественного целого: ритма и звучания, лексических заимствований, тематических переключек, мотивных сближений, параллелизма синтаксических форм, метра и рифмы. Для ее корректного истолкования круг державинских прецедентных текстов не может ограничиваться такими стихотворениями, как «Вельможа», «Властителям и судиям» и «Памятник», и должен быть существенно расширен. Рассмотренные нами многочисленными интертекстуальными планами не просто образуют полемический фон юношеского стихотворения поэта, но организуют его смысловую структуру.

### Источники

*Державин Г.Р.* Сочинения / под ред. Я. Грота: в 9 т. Т. VI. СПб.: Имп. Акад. наук, 1871. 905 с.

*Державин Г.Р.* Сочинения. СПб.: Академический проект, 2002. 712 с.

Ломоносов М.В. // Русская поэзия XVIII века. М.: Худож. лит., 1972. С. 123–157.

Православный молитвослов. Псалтирь. URL: [https://православный-молитвослов.рф/psaltir/online/biblio\\_psalt.html?ysclid=lug0rvmszu901339566#psalom100](https://православный-молитвослов.рф/psaltir/online/biblio_psalt.html?ysclid=lug0rvmszu901339566#psalom100)

*Пушкин А.С.* Полн. собр. соч.: в 20 т. Т. 2: Стихотворения. Кн. 1. (Петербург. 1817–1820). СПб.: Наука, 2004. 739 с.

### Литература

*Благой Д.Д.* Творческий путь Пушкина (1813–1826). М.; Л.: Сов. писатель, 1967. 724 с.

*Вальденберг В.Е.* Комментарий к оде «Вольность» // Вопросы философии. 2015. № 6. С. 122–133.

*Вальденберг В.Е.* Сень надежная закона: Политическое мировоззрение Пушкина. СПб.: Дмитрий Буланин, 2017. 320 с.

*Городецкий Б.П.* Лирика Пушкина. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1962. 466 с.

*Ивинский Д.П.* Пушкин и Державин: к вопросу об интерпретации двух заключительных строф «Воспоминаний в Царском Селе» // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. 2017. № 1. С. 127–145.

*Калашников С.Б.* Национально-культурное своеобразие образа поэта-пророка в русской одической традиции XVIII века // Восток — Запад: пространство русской литературы и фольклора. Волгоград: Волгоградское науч. изд-во, 2006. С. 726–733.

*Калашников С.Б.* Ода А.С. Пушкина «Вольность»: эволюция интертекстов // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 8: Литературоведение. Журналистика. 2007. № 6. С. 23–30.

*Макогоненко Г.П.* Пушкин и Державин // XVIII век. Сб. 8. Державин и Карамзин в литературном движении XVIII — начала XIX века. Л.: Наука, 1969. С. 113–126.

*Прокудин С.Б.* Державин и Пушкин // Вестник Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2002. № 3 (27). С. 8–15.

*Соболева А.А.* Мотив кастальского источника в стихотворениях Г.Р. Державина, А.С. Пушкина и Н.М. Языкова // Вестник Московского государственного областного университета. Сер.: Русская филология. 2015. № 1. С. 57–63.

*Томашевский Б.В.* Пушкин. Т. 1. Лицей; Петербург. М.: Худож. лит., 1990. 367 с.

*Успенский Б.А.(а)* Царь и Бог: Семиотические аспекты сакрализации монарха в России // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. I: Семиотика истории; семиотика культуры. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 205–337.

*Успенский Б.А.(б)* Царь и патриарх: харизма власти в России (Византийская модель и ее русское переосмысление) // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. I: Семиотика истории; семиотика культуры. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 184–204.

*Успенский Б.А.(в)* Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Успенский Б.А. Избранные труды. Т. I: Семиотика истории; семиотика культуры. М.: Языки русской культуры, 1996. С. 142–183.

## References

### Istochniki

Derzhavin G.R. (1871). *Sochineniya* [Writings]. V 9 t. Vol. VI. Sankt-Peterburg. (In Russ.)

Derzhavin G.R. (2002). *Sochineniya* [Writings]. Sankt-Peterburg: Akademicheskij proekt. (In Russ.)

Lomonosov M.V. (1972). In: *Russkaya poeziya XVIII veka*. Moscow: Hudozh. lit. Pp. 123–157. (In Russ.)

*Pravoslavnyj molitvoslov. Psaltir'* [Orthodox prayer book. Psalter]. (In Russ.) URL: [https://pravoslavnyj-molitvoslov.rf/psaltir/online/biblio\\_psalt.html?ysclid=lug0rvmszu901339566#psalom100](https://pravoslavnyj-molitvoslov.rf/psaltir/online/biblio_psalt.html?ysclid=lug0rvmszu901339566#psalom100)

Pushkin A.S. (2004). *Polnoe sobranie sochinenij* [Full composition of writings]: v 20 t. Vol. 2: Stihotvoreniya. Kniga pervaya. (Peterburg. 1817–1820). Sankt-Peterburg: Nauka. (In Russ.)

### Literatura

Blagoj D.D. (1967). *Tvorcheskij put' Pushkina (1813–1826)* [Pushkin's creative path (1813–1826)]. Moscow-Leningrad: Sovetskij pisatel' (In Russ.)

Val'denberg V.E. (2015). *Kommentarij k ode "Vol'nost"* [Commentary on the ode "Liberty"]. In: *Voprosy filosofii*, 6, 122–133. (In Russ.)

Val'denberg V.E. (2017). *Sen' nadezhnaya zakona: Politicheskoe mirovozzrenie Pushkina* [The reliable canopy of the law: Pushkin's political worldview]. Sankt-Peterburg: Dmitrij Bulanin. (In Russ.)

Gorodeckij B.P. (1962). *Lirika Pushkina* [Pushkin's lyrics]. Moscow-Leningrad. (In Russ.)

Ivinskij D.P. (2017). *Pushkin i Derzhavin: k voprosu ob interpretacii dvuh zaklyuchitel'nyh strof "Vospominanij v Carskom Sele"* [Pushkin and Derzhavin: on the question of interpretation of the two final stanzas of "Memoirs in Tsarskoe Selo"]. In: *Vestnik Moskovskogo universiteta*. Seriya 9: Filologiya. 1, 127–145. (In Russ.)

Kalashnikov S.B. (2006). *Nacional'no-kul'turnoe svoeobrazie obraza poeta-proroka v russkoj odicheskoj tradicii XVIII veka* [National and cultural originality of the image of the poet-prophet in the Russian odic tradition of the 18<sup>th</sup> century]. In: *Vostok – Zapad: prostranstvo russkoj literatury i fol'klora*. Volgograd, 726–733. (In Russ.)

Kalashnikov S.B. (2007). *Oda A.S. Pushkina "Vol'nost": evolyuciya intertekstov* [Oda A.S. Pushkin's "Liberty": the evolution of intertexts]. In: *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta*. Seriya 8: Literaturovedenie. ZHurnalistika, 6, 23–30. (In Russ.)

Makogonenko G.P. (1969). *Pushkin i Derzhavin* [Pushkin and Derzhavin]. In: *XVIII vek*. Sbornik 8. Derzhavin i Karamzin v literaturnom dvizhenii XVIII – nachala XIX veka. Leningrad, 113–126. (In Russ.)

Prokudin S.B. (2002). *Derzhavin i Pushkin* [Derzhavin and Pushkin]. In: *Vestnik Tambovskogo universiteta*. Seriya: Gumanitarnye nauki, 3 (27), 8–15. (In Russ.)

Soboleva A.A. (2015). *Motiv kastal'skogo istochnika v stihotvorenyah G.R. Derzhavina, A.S. Pushkina i N.M. Yazykova* [The motif of the Castalian source in the poems of G.R. Derzhavina, A.S. Pushkin and N.M. Yazykova]. In: *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Russkaya filologiya, 1*, 57–63. (In Russ.)

Tomashevskij B.V. (1990). *Pushkin*. Vol. 1. Licej; Peterburg. Moscow: Hudozh. lit. (In Russ.)

Uspenskij B.A. (1996a). *Car' i Bog: Semioticheskie aspekty sakralizacii monarha v Rossii* [Tsar and God: Semiotic aspects of the sacralization of the monarch in Russia]. In: Uspenskij B.A. *Izbrannye trudy*. Vol. 1: Semiotika istorii; semiotika kul'tury. Moscow: YAzyki russkoj kul'tury, 205–337. (In Russ.)

Uspenskij B.A. (1996b). *Car' i patriarh: harizma vlasti v Rossii (Vizantijskaya model' i ee russkoe pereosmyslenie)* [Tsar and Patriarch: charisma of power in Russia (Byzantine model and its Russian rethinking)]. In: Uspenskij B.A. *Izbrannye trudy*. Vol. 1: Semiotika istorii; semiotika kul'tury. Moscow: YAzyki russkoj kul'tury, 184–204. (In Russ.)

Uspenskij B.A. (1996v). *Car' i samozvanec: samozvanchestvo v Rossii kak kul'turno-istoricheskij fenomen* [Tsar and impostor: impostor in Russia as a cultural and historical phenomenon]. In: Uspenskij B.A. *Izbrannye trudy*. Vol. 1: Semiotika istorii; semiotika kul'tury. Moscow: YAzyki russkoj kul'tury, 142–183. (In Russ.)

### Сведения об авторе

Калашников Сергей Борисович – кандидат филологических наук, доцент; Московский городской педагогический университет, Москва, Россия; Институт гуманитарных наук; департамент филологии; доцент; научные интересы: творчество А.С. Пушкина, русская поэзия XVIII–XXI веков, проблемы метасюжета, мифопоэтика.

### Information about the author

Sergey B. Kalashnikov – PhD (Philology); Associate Professor; Moscow City University; Institute for the Humanities; Philology Department; Associate Professor; scientific interests: creativity of A.S. Pushkin, Russian poetry of the 18–21<sup>st</sup> centuries, problems of meta-plot, mythopoetics.